

**Бердников Г. А. П. Чехов. Идеиные и творческие искания. – Л.:
Художественная литература, 1970. – С. 228 - 246**

«Скучная история»

В идейных и творческих исканиях А. П. Чехова конца восьмидесятых годов важной вехой стала повесть «Скучная история».

Замысел этого произведения писатель вынашивал еще в 1888 году. Тогда же, видимо, был написан первый вариант повести, о содержании которого мы можем судить по письму Чехова к А. С. Суворину от 28 ноября 1888 года. В этом письме Чехов сообщал, что работает над рассказом для «Нового времени». «Рассказ, - писал он, — выходит скучноватым. Я учусь писать «рассуждения» и стараюсь уклоняться от разговорного языка... Сюжет рассказа таков: я лечу одну молодую даму, знакоюсь с ее мужем, порядочным человеком, не имеющим убеждений и мировоззрения; благодаря своему положению, как горожанина, любовника, мужа, мыслящего человека, он волей-неволей наталкивается на вопросы, которые волей-неволей, во что стало должен решать. А как решать их, не имея воззрения? Как? Знакомство наше венчается тем, что он дает мне рукопись — свой «автобиографический очерк» состоящий из множества коротких глав. Я выбираю те главы, которые мне кажутся наиболее интересными, и преподношу их благосклонному читателю. Рассказ мой начинается прямо с VII главы и кончается тем, что давно уже известно, а именно, что осмысленная жизнь без определенного мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас. Беру я человека здорового, молодого, влюбчивого, умеющего и выпить, и природой насладиться, и философствовать, не книжного и не разочарованного, а очень обыкновенного малого.

Выходит у меня не рассказ, а фельетон».

Закончил Чехов рассказ вскоре, во время своего пребывания в Петербурге в декабре 1888 года. Тогда же, видимо, он был одобрен Сувориным и сдан в типографию. Однако эта редакция произведения не удовлетворила писателя. На второй день после своего возвращения в Москву, 18 декабря 1888 года, он писал А. С. Суворину, у которого останавливался во время поездки: «Я забыл у себя на столе корректуру своего рассказа, который начинается с VII главы. Найдите его, голубчик, и пришлите с пьесами. Я хочу продолжать его».

Таков был первый этап работы над будущей повестью. Как видим, Чехов пока что в кругу той же драматической коллизии, что и в «Иванове»: герой повести, как и Иванов, «наталкивается на вопросы, которые... во что бы то ни стало должен решать», и тоже оказывается бессильным сделать это. Новым по сравнению с первой редакцией «Иванова» является ясно выраженная мысль о решающей роли мировоззрения. Как изменялся замысел произведения в дальнейшем, достоверных сведений мы не имеем. В известном нам варианте повесть была написана, видимо, в августе-сентябре 1889 года. Чехов сообщал об окончании своего нового произведения 3 сентября, потом 13 сентября, но продолжал над ним работать и отослал его в редакцию «Северного вестника» только 24 сентября 1889 года. Первоначальный замысел сохранился к этому времени лишь в самой общей форме. Как и было вначале — это автобиографические заметки, так и раньше — это повесть о решающей роли мировоззрения в жизни человека. Однако и сюжет рассказа и герой его неузнаваемо изменились.

По выходе в свет «Скучной истории» критика сразу отметила сходство этого нового произведения Чехова со «Смертью Ивана Ильича» Л. И. Толстого. К этому, казалось, были весьма веские основания. В самом деле, и в том и в другом произведении герои переосмысливают свою прошлую жизнь перед лицом смерти. И там и тут герои приходят к заключению, что их жизнь, казавшаяся им безупречной, на самом деле была прожита плохо, изобилвала ошибками, что в ней не было чего-то самого важного и основного, что она была «не то».

Вместе с тем очевидно, что эти два произведения не только не похожи друг на друга по своей художественной форме, но и существенно отличаются по содержанию.

Основным пафосом повести Л. Н. Толстого является обличение фальши, лживости жизни Ивана Ильича и его круга. Внутренний голос говорит Ивану Ильичу накануне смерти: «Не то. Все то, чем ты жил и живешь, - есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». Эту ложь и показывает в повести Толстой. Создается картина странной, призрачной жизни, где нет ничего *настоящего*. Как будто люди приходят, чтобы отдать последнюю дань уважения покойному; на самом же деле они думают, как им договориться о вечерней встрече за карточным столом. Как будто вдова и приятель ее покойного мужа погружены в скорбные думы об ушедшем от них Иване Ильиче; в действительности же он занят мыслями о том, как неудобен старый пуф, на который он сел, она же пытается поприличней выведать, нельзя ли по случаю смерти мужа вытянуть из казны побольше денег, чем ей полагается.

Таковы окружающие Ивана Ильича люди, и он впервые понимает это во время своей болезни. Но, постигнув лживость, черствость, эгоистичность и своих близких и доктора, Иван Ильич увидел в них себя, в их жизни - свою жизнь, исполненную лжи и вечного стремления ни в чем не противоречить тому, что одобрялось и поощрялось наивысше поставленными людьми».

«Он, — пишет Толстой, — не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения». Так Иван Ильич женился. «Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным». В таком же духе определились его отношения с людьми. Иван Ильич всегда стремился в своих отношениях с ними «исключить все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел». Ухитрился Иван Ильич изгнать все «сырое», то есть человеческое, и из своих отношений с семьей. «Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением». Так сложилась его жизнь, которую он считал правильной и хорошей. «Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт». Болезнь помогла понять Ивану Ильичу, что все эти призрачные радости скрывали его страшное одиночество и ненависть, которая окружала его. Поняв же это, Иван Ильич увидел, что «жить так на краю гибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его».

Нетрудно видеть, что это обличение лживости и ненормальности устоявшихся человеческих отношений весьма близко Чехову. Об этом, как мы помним, он по-своему писал уже в юмористических рассказах, в повести «Степь», потом в «Именинах», «Княгине». Однако «Скучная история» написана уже не об этом. Герой повести, Николай Степанович, во все не похож на таких героев, как Иван Ильич или Петр Дмитрич («Именины»). Нет, жизнь Николая Степановича никак нельзя назвать пустой, бессодержательной, незнакома ему и поработившая Ивана Ильича и Петра Дмитрича ложь.

Когда Николай Степанович говорит, что он мог бы считать свою жизнь «красивой, талантливо сделанной композицией», то он, казалось бы, имеет на это все основания.

Как ни ужасны были физические мучения Ивана Ильича, еще более страшны были его нравственные муки. Состояли же они в том, что Иван Ильич никак не мог примириться с мыслью, что жизнь его была «не то». Как только он начинал об этом думать, поднималась «его ненависть, и вместе с ненавистью физические мучительные страдания, и с страданиями сознание неизбежной, близкой гибели». В свою очередь, и убеждение Ивана Ильича в том, что жизнь его была хорошая, и ощущение им ужасного своего одиночества, и протест против жестокости людей, жестокости бога, и мысль об отсутствии бога, и отсюда — страх смерти-гибели все это, по мнению Толстого, было результатом себялюбия Ивана Ильича, его глу-

бочайшего эгоизма. Вот почему достаточно было ему смягчиться, подумать с чувством жалости и сострадания о своих близких, как приходит конец его чувству одиночества, а вместе с тем и всем его нравственным мукам. Иван Ильич вдруг «увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить... Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!»

Пробудившиеся в Иване Ильиче чувства любви и самоотречения и означали, что он нашел себя, а вместе с тем нашел и душевное успокоение.

В отличие от Ивана Ильича, Николай Степанович, хорошо понимая, что дни его сочтены, вовсе не думал о смерти. «К несчастью, — говорит он, — я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как двадцать - тридцать лет тому назад, так и теперь, перед смертью, меня интересует одна только наука».

Еще более существенно, что, в отличие от Ивана Ильича, Николай Степанович не находит выхода из того духовного кризиса, который он переживает. И это проходит потому, что путь нравственного совершенствования не кажется Чехову и его герою таким всеспасительным, как это представляется Толстому. В отличие от Ивана Ильича, ответ на вопрос «что делать?» так и остается неведомым герою Чехова.

Кто же такой Николай Степанович и в чем состоит его духовная драма? Ответить на этот вопрос не так-то просто прежде всего потому, что герой, с записками которого мы знакомимся, находится в состоянии душевного смятения, сам не может разобраться в обуревающих его чувствах, боится своих новых мыслей. Чехов считал, что пространственные рассуждения профессора столь же необходимы, «как тяжелый лафет для пушки», так как характеризуют и героя, и его настроение, и его влияние перед самим собой».

В научной литературе давно ведутся споры — кто такой Николай Степанович: «шестидесятник» или «восьмидесятник». Нельзя признать плодотворным такой спор, так как любой односторонний ответ на этот вопрос не будет правильным и убедительным. Не следует забывать: взгляды профессора, с которыми он прожил всю свою жизнь, складывались в одну эпоху, а осознал он их несостоятельность уже в иное время.

Николай Степанович по своему происхождению разночинец-демократ. В прошлом у него провинциальная семинария, мечты об университете, годы студенчества, лекарская работа, дешевая портерная, где он обдумывал свою диссертацию. Демократический уклад долгое время сохранялся в семье и тогда, когда Николай Степанович стал профессором университета.

Сам Николай Степанович не изменился и позже, став генералом и «известностью», хотя семья и сочла необходимым перестроить свой быт на новый, генеральский лад. Рассказывая с грустью об этих переменах, которые навсегда отняли у него «и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей», профессор свидетельствует, что сумел устоять и перед этим жизненным испытанием. «С детства я привык, — пишет он, — противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим...».

В облике этого разночинца-демократа есть много черт, характерных для людей шестидесятых годов. И семинарское образование, и страстная тяга к естественным наукам, и безграничная преданность избранному делу — все это типично для замечательной плеяды разночинцев шестидесятых годов. Совпадает и хронология. Профессору шестьдесят два года, и начало его университетской деятельности падает именно на шестидесятые годы. Даже в его суждениях об искусстве есть нечто весьма характерное для этой эпохи. Такова его оценка

театра. «Сентиментальную и доверчивую толпу, — рассуждает Николай Степанович, — можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет через пятьдесят — сто лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы — лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед».

Нетрудно видеть, что эта филиппика, направленная против театра, выдержана в писаревском духе и вновь характеризует Николая Степановича как «мыслящего реалиста», воспитанника шестидесятых годов.

При всем том Чехов наделяет своего героя рядом других черт, которые уже трудно признать типическими для разночинцев-демократов шестидесятых годов.

8 мая 1889 года А. П. Чехов сообщал своему брату Александру, как он понимает людей «не ноющих». «Не ноет только тот, — писал он, — кто равнодушен. Равнодушны же или философы, или мелкие, эгоистические натуры. К последним должно отнести отрицательно, а к первым положительно. Конечно, о тех равнодушных тупицах, которым не причиняет боли даже прижигание раскаленным железом, не может быть и речи». Герой Чехова и принадлежит к числу тех «равнодушных», «равнодушие» которых есть следствие их философского взгляда на мир. Всю свою жизнь он был мягок и покладист. «Я никогда не судил, — пишет он, — был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги». Николай Степанович рассказывает об этом с гордостью, будучи убежден, что «такое... отношение к людям... воспитывало всех», кому приходилось быть рядом с ним.

В полном соответствии с этой чертой характера Николая Степановича находится и его политическая индифферентность. Он гордится тем, что никогда «не совал своего носа... в политику», так как занятие политикой кажется ему такой же человеческой слабостью, как поиски популярности в полемике с невеждами, речи на бедах и на могилах товарищей.

Еще одним весьма характерным признаком философского «равнодушия» Николая Степановича является круг его друзей. К числу их, как оказывается, принадлежали и революционер-демократ Некрасов, и либерал Кавелин, и знаменитый хирург Пирогов, ввавший в последние годы своей жизни в мистицизм и поведавший об этом в своем дневнике, который был хорошо известен Чехову. Столь пестрый триумvirат друзей дорисовывал облик Николая Степановича — знаменитого ученого, умевшего стоять над людскими страстями, и прежде всего — политическими страстями, покладистого, вовсе лишённого чувства социального или иного какого-нибудь протеста.

Возникает вопрос, была ли такая жизненная позиция типична для людей, которых принято называть шестидесятниками? Достаточно вспомнить реальных шестидесятников, таких, как Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, или даже таких, как тот же Кавелин, чтобы ответить на этот вопрос отрицательно. Меньше всего были «равнодушны» и те шестидесятники, которых запечатлела русская литература. Подобное качество, как это хорошо знал Чехов, было чуждо не только Базарову, но даже такому далекому от политики человеку, как Молотов Помяловского.

Создавая образ Николая Степановича, Чехов, видимо, стремился не к тому, чтобы создать типичный образ шестидесятника. Он хочет нарисовать образ человека, близкого ему по своим взглядам. Николай Степанович был материалистом, талантливым ученым — естествоиспытателем, и в этом смысле воплощал важнейшую для Чехова черту «святого времени шестидесятых годов». Это был, несомненно, истинный подвижник науки из числа тех, о которых, в заметке о выдающемся русском путешественнике Н. М. Пржевальском, Чехов писал с восторгом, называя их людьми «подвига, веры и ясно сознанной цели».

Николай Степанович оказывается наделенным не только чертами ученого – подвижника, но и теми нравственными качествами, которые были в это время весьма существенны для Чехова. В самом деле, Николаю Степановичу свойственна не только снисходительность и покладистость, но и любовь к людям, причем любовь, органически вытекающая из просветительских убеждений ученого. «Испуская последний вздох, - говорит он, - я все – таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви, и что только ею одною человек победит природу и себя».

Таким образом, Николай Степанович, казалось бы, должен быть подлинным положительным героем, гармонически сочетающим в себе давние просветительские и новейшие этические идеалы писателя. Оказывается, однако, что это совсем не так, что во взглядах старого профессора был какой – то существенный изъян, в результате чего он вынужден придти в конце – концов к заключению, что его жизнь вовсе не являлась «красивой, талантливо сделанной композицией», что в ней не было чего – то самого главного и основного.

Чего же недоставало Николаю Степановичу, чем плоха и несовершенна была прожитая им жизнь?

По словам самого профессора, несчастье его состоит в том, что ему не хватает цельного мировоззрения, или, как он говорит, «общей идеи». «В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, - признается Николай Степанович, — нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека.

А коли нет этого, то, значит, нет и ничего».

В работах о Чехове принято приводить эту цитату и ставить точку. Считается, что чеховский тезис: общая идея - «бог живого человека» говорит сам за себя, так как означает борьбу с безыдейностью. Это, конечно, верно, однако при этом все же остается открытым вопрос, что именно подразумевает в это время Чехов под «общей идеей», почему взгляды крупного ученого, гуманного человека оказываются для него (менее чем через год после статьи о Пржевальском) ущербными и неполноценными.

Трудно предположить, что Чехов стал менее уважительно относиться к науке. Нет, он, видимо, для того и избирает своим героем крупного ученого, безукоризненного научной, общественной и личной репутации, чтобы отчетливее и яснее показать, какое решающее значение для человека, кем бы он ни был, имеет то, что он называет «общей идеей».

Профессор приходит к мысли, что у него нет «общей идеи», внезапно, обнаружив кричащие противоречия в своих взглядах и убедившись, что у него нет сил разрешить эти противоречия.

Как мы помним, Николай Степанович был уверен, что наука «всегда была и будет высшим проявлением любви». Это убеждение и было долгое время «общей идеей» профессора. Оно одухотворяло его научные занятия, давало возможность получать от своей работы полное нравственное удовлетворение. Его духовная драма началась тогда, когда он увидел, сколь плачевны в действительности итоги его многолетней жизни. Поглощенный наукой, он, оказывается, не видел реальной жизни; убежденный, что служит людям, он между не заметил, как проглядел духовную жизнь близких ему людей.

Теперь как бы впервые он увидел свою жену. «Я смотрю на свою жену, — рассказывает Николай Степанович, — и удивляюсь, как ребенок. В недоумении спрашиваю себя: неужели эта старая, очень **полная**, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, — неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варей, которую я страстно полюбил за хо-

роший ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «состраданье» к моей науке?»»

Так же проглядел он и жизнь своей дочери. Он не заметил, как она выросла эгоисткой, как появились у нее странные, пошлые манеры, как оказалось возможные ее сближение с таким проходимцем, как Гнеккер. «Я гляжу на обеих, — признается себе Николай Степанович, — и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у не настоящей жены и вижу не настоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю».

Не менее печально сложилась жизнь другого близкого профессору существа — его любимой воспитанницы Кати. Теперь, вспоминая о том, как на его глазах она ошибалась и падала, Николай Степанович приходит к выводу, что он «играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем, ведь я заменял ей родного отца и любил ее как дочь!»

Такова изнанка того «философского» отношения к жизни, той покладистости, сдержанности и снисходительности к людям, которыми Николай Степанович привык гордиться. Он вынужден признаться, что за всем этим стояли холодность, невнимательность, безучастие к людям и полная беспомощность в решении вопросов, которые ставила перед ним жизнь. Так выясняется несостоятельность приводившегося выше утверждения Чехова, что равнодушные философы заслуживают положительного отношения. «Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны, — восклицает Николай Степанович. — Неправда, равнодушные — это паралич души, преждевременная смерть». И Чехов теперь вполне разделяет эти мысли. В письме А. Н. Плещееву от 30 сентября 1889 года он пишет: «...мой герой — и это одна из его главных черт — слишком беспечно относится к внутренней жизни окружающих и в то время, когда около него плачут, ошибаются, лгут, он преспокойно трактует о театре, литературе; будь он иного склада, Лиза и Катя, пожалуй бы, не погибли».

Так уточняется чеховский положительный идеал. Мало быть ученым, думает теперь писатель. Фанатическая преданность науке, погруженность в нее могут быть проявлением и односторонности, которая особенно свойственна узким и ограниченным людям. Показательным образцом такой узости и односторонности является прозектор Петр Игнатьевич. Николай Степанович иронизирует над ним и плохо скрывает свое презрение к нему. Сообщая о том, что кругозор Петра Игнатьевича резко ограничен его специальностью, Николай Степанович замечает, что «вне своей специальности он наивен, как ребенок... Кажется, запой у него под самым ухом Патти, напади на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевелинется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой».

Недобрые чувства профессора к прозектору становятся особенно острыми, когда он начинает переосмысливать свою собственную жизнь. И не исключена возможность, что эта ненависть подогревается тайной мыслью, что у них с Петром Игнатьевичем, несмотря на все различия, есть нечто общее. Собственно говоря, когда профессор сообщает, что «судьбы костного мозга» интересуют его больше, чем «конечная цель мироздания, он и признается в этом своем кровном родстве с Петром Игнатьевичем. Его невнимание к людям, холодность к ним и к их судьбам прямо связаны с этой односторонностью.

Итак, Николай Степанович приходит к выводу, что равнодушие есть не признак философской мудрости, а тяжкая болезнь духа — «паралич души», «преждевременная смерть».

При этом он не только убеждается, как велики издержки его равнодушия, но и теряет способность быть равнодушным. Именно поэтому он и получает возможность увидеть как бы впервые и жену, и дочь, и Катю, и самого себя. И все же профессор не в состоянии последовательно изменить свое мировоззрение. Осудив свои прошлые взгляды, он не может принять те новые мысли, которые идут им на смену, пугается их. Отсюда те «виляния» профессора перед самим собою, о которых упоминает Чехов в своем письме.

Потеряв способность быть равнодушным, профессор оказывается под властью новых мыслей, которых он не знал раньше и которые «жалят теперь его мозг, как москиты». Вспоминая о том, что раньше он безгранично пользовался «самым святым правом королей» — правом помилования, Николай Степанович приходит к выводу, что теперь он уже не король. «Во мне, — говорит он Кате, — происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика: прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга». Рассказывая об этих своих новых взглядах, профессор со страхом гонит от себя мысль, что прошлая его покладистость была всего лишь результатом слепоты и равнодушия. Однако у Кати на сей счет нет никаких сомнений. «Просто у вас открылись глаза; вот и все, — заявляет она ему. — Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать».

И все же профессор глубоко убежден, что новые, злые мысли недостойны его как человека. Он считает, что его мирозерцание может быть выражено теперь словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «»Все хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». То есть все гадко, не для чего жить...».

Если прежнее отношение к жизни Николая Степановича находило свое почти гротескное отражение в односторонности и узости уткнувшегося в свои препараты прозектора, то теперь другим двойником профессора, в котором он со страхом видит последовательное проявление своего нового мирозерцания, оказывается университетский коллега Николая Степановича — Михаил Федорович, постоянный собеседник Кати.

Важнейшей чертой Михаила Федоровича является всеразъедающая ирония. «Самое характерное в его манере говорить, — рассказывает Николай Степанович, — это постоянно шуточный тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно». Николай Степанович, рассказывая о беседах, которые ведут Михаил Федорович и Катя, рисует действительно неприглядную картину торжества «аракчеевских» мыслей, «аракчеевского» отношения к жизни. «Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы», — возмущается Николай Степанович. И в самом деле, анекдоты и шуточки Михаила Федоровича не только проникнуты всеразрушающей, опустошительной иронией, но и сильно отдают той желчью, которой обычно были проникнуты злобные фельетоны реакционных критиков и публицистов «Нового времени». Можно ли поэтому удивляться тому страху и отвращению, которые охватывают Николая Степановича, когда он замечает, как «злые мысли» неумолимо сближают его с Михаилом Федоровичем, как он сам начинает втягиваться в вечерние беседы у Кати, отравленные брюзжанием, клеветой и глумлением. «Темы для разговоров у нас не новы, все те же, что были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру; воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляют его своими дыханиями уже не две жабы, как зимою, а целых три».

Не следует думать, что такое представление о новых мыслях профессора есть также результат его «влияния» перед самим собой. Нет, и на этот раз он, по мнению Чехова, трезво оценивает положение. В письме к А. С. Суворину, разъясняя свой замысел, Чехов писал, что ему «хотелось воспользоваться своими знаниями и изобразить тот заколдованный круг, попав в который добрый и умный человек, при всем своем желании принимать от бога жизнь такую, какая она есть, и мыслить о всех по-христиански, волей-неволей ропщет, брюзжит, как раб, и бранит людей даже в те минуты, когда принуждает себя отзываться о них хорошо. Хочет вступиться за студентов, но кроме лицемерия и жителейской ругани ничего не выходит...».

Как видим, безысходность позиции профессора состоит прежде всего в трагической противоречивости взглядов. Николай Степанович считает, что смысл жизни состоит в служении прогрессу, в ходе которого будет совершенствоваться и человек, избавляясь постепенно от присущих ему слабостей. В то же время он убежден, что нормальное человеческое общежитие должно зиждиться на гуманных началах, которые, с его точки зрения, прежде всего подразумевают покладистость и снисходительность к человеческим недостаткам, так как виноваты в них все люди, не умеющие воспитывать друг друга. И вот эта, казалось бы, весьма стройная теория любви вдруг летит прахом. Выясняется, что пассивно-созерцательное и даже гуманно-сострадательное отношение к людям есть проявление не любви к ним, а равнодушия. Однако, избавившись от равнодушия, недостойного человека, Николай Степанович вынужден вновь признаться в своей несостоятельности, так как оказывается способным лишь на злобное брюзжание. Понимая всю противоестественность такого положения, видя, что он находится в заколдованном кругу, Николай Степанович и приходит к выводу, что в его взглядах нет чего-то «главного, чего - то очень важного», что в конечном счете он называет «общей идеей». «При такой бедности, — думает он, - достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара... Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой».

Таким образом, не следует думать, что торжество «рабских» мыслей вслед за утратой равнодушия понимается как нечто фатально неизбежное. Причиной такого изменения взглядов оказывается безыдейность, отсутствие определенного мировоззрения, общей идеи. Мало этого - как выясняется, это беда вовсе не одного профессора. Подлинное несчастье состоит в том, что ответ на вопросы: что делать? как жить? — неведом не только профессору. Будучи вынужден отвечать на Катин вопрос, что ей делать, Николай Степанович думает: «Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить». И чем дальше, тем тверже убеждается старый профессор, что настоящего ответа на простой и естественный вопрос Кати у него нет. Вот почему в заключительной сцене, наконец-то прямо признавшись, что он ничего не может ей посоветовать, Николай Степанович с грустью думает: «Отсутствие того, что товарищи философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!»

Таковы невеселые мысли, которые легли в основу «Скучной истории». С наибольшей ясностью и остротой здесь нашли свое отражение искания, сомнения и колебания Чехова. По-прежнему нравственные проблемы представляются ему главными в человеческом общежитии. Как и раньше, он убежден, что именно любовь должна определять отношения между людьми. И это, как и прежде, сближает его с нравственным учением Толстого. Однако, в отличие от своего великого современника, Чехов полон сомнений. И если говорить о соотно-

сенности «Скучной истории» и «Смерти Ивана Ильича», то она окажется весьма сложной и противоречивой.

Чехов берет основные нравственные посылки Толстого и, принимая их, призывает нас глубже вдуматься в реальное положение вещей. Конечно, как бы говорит Чехов, Иван Ильич прожил свою жизнь дурно, верно также, что подлинная трагедия его жизни — в отрешенности от людей, в его эгоистической замкнутости. Согласен Чехов и с тем, что единственный выход для Ивана Ильича из этого трагического одиночества — в пробуждении любви к людям. Принимая все это, Чехов рассказывает нам «скучную историю» Николая Степановича, которого никак не упрекнешь в примитивных заблуждениях, свойственных Ивану Ильичу, и неопровержимо убеждает нас, что озарение, к которому приводит Л. Н. Толстой своего героя, является лишь иллюзией выхода из положения. Иллюзией потому, что идея любви, как оказывается, вовсе не кладет конец трудностям, ошибкам и заблуждениям. Более того — как показывает Чехов, тут-то и начинаются настоящие сложности, таящие возможности новых ошибок, новых заблуждений, которые, в отличие от ошибок Ивана Ильича, куда труднее предотвратить. Это и есть тот «заколдованный круг», в который попадает Николай Степанович, столкнувшийся с неразрешимой для него проблемой активной, деятельной любви, к его удивлению и ужасу неумолимо оборачивающейся своей, как ему кажется, диаметральной противоположностью — непримиримостью и ненавистью.

Временно оттесненное идеей любви и нравственной гармонии, подспудно зрело у Чехова чувство социального протеста. Оно явно давало о себе знать в рассказе «Враги» (1887), исполненном глубокой симпатии автора к доктору Кирилову, хотя рассказ и кончается осуждением вражды и ненависти, разъединяющей людей. Еще более откровенно то же чувство протеста проявилось в обличительной речи другого несомненно близкого Чехову человека — доктора Михаила Ивановича в рассказе «Княгиня», хотя и здесь протест оказался приглушенным все той же идеей всеобщей любви и гармонии. Еще более мощно заявили о себе новые чувства автора в «Скучной истории», в «злых» мыслях Николая Степановича, который вдруг почувствовал ненависть не к деньгам, а к богачам, не к насилию и произволу, а к людям, употребляющим насилие. Однако и на этот раз крамольных мыслей испугался не только герой повести, но и ее автор. И по-своему это было логично.

В самом деле, скептически относясь к современным политическим течениям, будучи в это время твердо убежден, что «революции в России никогда не будет», Чехов неизбежно приходил к выводу о полной бесперспективности, а потому и пагубности проснувшегося в профессоре чувства протеста. Сползание Николая Степановича на позиции желчного брюзжания и должно было наглядно об этом свидетельствовать.

Где же, однако, выход из тупика? Как примирить зреющее чувство социального протеста, а вместе с тем и идею действенной, активной любви, с идеями мира и нравственной гармонии? Именно этот вопрос во всей его остроте встал перед Чеховым после написания «Скучной истории».

Следует учитывать также, что вопросы, которые решал Чехов в повести, были вовсе не умозрительными. Насколько они были актуальны, хорошо показывает одна из статей «Очерков русской жизни» Н. Шелгунова, помещенная в январском номере журнала «Русская мысль» за 1889 год. Н. Шелгунов анализировал здесь наиболее острые случаи душевной депрессии у молодежи, разъяснял возможные причины подобных явлений, говорил о путях их преодоления. «Вот, например, — пишет Н. Шелгунов, — девушка обращается с письмом к писателю с просьбой указать ей, что читать, «назвать хоть несколько сочинений, способных помочь ей выйти из ужасного тяжелого состояния апатии, в котором она находится, способных хоть немного осветить смысл жизни, дать хоть какие-нибудь идеалы»... «Кругом все пусто, мертво, дело лишь на словах, и отношение к нему странное, — пишет она. — Более внимательный взгляд на жизнь этих людей вызывает вопросы: чем они живут? В чем смысл их жизни? Стоит ли жить так? (слышите: стоит ли?) - и берет сомнение, есть ли где-нибудь иные люди...» Какие действительно тяжелые, мучительные и, очевидно, неразрешимые для человека вопросы!» — заключал Н. Шелгунов. Несколько далее он поясняет, что подобные

вопросы легче преодолевают «практические умы... люди же теоретические, идейные и, в особенности, с приподнятым личным чувством, у которых центр тяжести их душевного равновесия кроется в нравственном чувстве», гораздо труднее и реже находят душевное равновесие.

Как видим, драматическая коллизия «Скучной истории» не была выдумкой автора. Мятущиеся фигуры молодых людей, полных стремления к глубокой, осмысленной жизни, ищущих путей к ней, ждущих совета — что делать, и не знающих, от кого получить этот совет, - все это было бытовым явлением трудного времени конца восьмидесятых годов. Тем большая ответственность ложилась на плечи писателя. Он должен был найти ответы на «проклятые вопросы» своего времени. И Чехов попытался дать их, дать наконец со всей ясностью и определенностью. Сделано это было в новой чеховской пьесе «Леший».

ЦГТБ имени А.П. Чехова